

## **СТРАТЕГИИ УДОВОЛЬСТВИЯ**

**(материалы круглого стола)**

Философский факультет СПбГУ  
4 декабря 2002 г.

Исторически сама возможность культурологического рассмотрения тематики удовольствия оказалась перед угрозой дилеммы: либо исключительное право суждения об удовольствии остаётся за специалистами по физиологии, и тогда оно изымается из пространства специфически человеческого, либо способность к переживанию удовольствия объясняется из индивидуальной истории и попадает в ведение психологов. С другой стороны, превалирующий индивидуализм новоевропейской культуры определил своеобразную трактовку этой проблематики в классической философии, в рамках которой обширное поле категорий удовольствия, фундирующий обыденный опыт, оказались отнесены к роду несообщаемых.

Однако в культуре издавна существуют стратегии вменения и трансформации удовольствия: власть пронизывает тела, диктуя принципы различения приятного и неприятного. Существующая методология исследования взаимодействия власти и тела позволяет тематизировать удовольствие с точки зрения возможности его переживания в рамках определённого культурного опыта. Для этого требуется привлечение обширного культурно-исторического материала, что делает необходимым обращение к специалистам в соответствующих областях: этнографам, историкам, социологам и т.д. Попытка такого рода исследования и была положена в основание семинара «Стратегии удовольствия». Тематическим ядром семинара стал доклад Е.Э. Суровой, в котором удовольствие рассматривалось как культурного феномена. Обсуждение доклада включило в себя рассмотрение следующих тем: герменевтика удовольствия, семантика объектов удовольствия, культурные оппозиции приятного/неприятного, приемлемого/неприемлемого, модусы наслаждения, взаимодействие текста и телесных практик.

Семинар был проведен в рамках совместного проекта Лаборатории метафизических исследований и Центра изучения культуры фи-

лософского факультета СПбГУ (постоянно действующий семинар «Границы в культуре»). В обсуждении приняли участие преподаватели и студенты философского факультета СПбГУ: Бабушкина Д.А., Горохова О.Н., Иоаннисян О.М., Кириленко С.А., Крылова Н.Е., Ларионов И.Ю., Петров М.Т., Рахимов Р.Р., Соколов Е.Г., Трофимов В.Ю. Ведущий – Соколов Б.Г.

*Кириленко С.А., Ларионов И.Ю., Сурова Е.Э.*

*Сурова Е.Э.*

Я рада приветствовать Вас, уважаемые коллеги, на первом совместном заседании нашего Центра и Лаборатории метафизических исследований.

Человеческая жизнь, безусловно, предстает перед нами как некоторая целостность. В то же время для каждого из нас она различена в нашем восприятии на периоды, события, воспоминания, допущения, прогнозы. Вслед за Августином, нам приходится признать, что мы начинаем умирать с момента рождения, но шаг от рождения до смерти предстает чередой воспринимаемых образов, окрашенных положительно или отрицательно. Жизнь наполнена событиями, производимыми нашей же деятельностью. Это и деятельность по производству культуры, и деятельность по производству самой жизни, т.е. повседневность. Опыт, получаемый в ходе обоих видов деятельности, дает нам возможность обозначить границы собственного присутствия в мире, где по одну сторону окажется полнота моего Собственного как полученного удовольствия, а «по ту сторону» будет вынесено Чуждое, предоставляющее тенденцию страдания. Но между «моим» и «другим» отчетливо просматривается пограничная полоса катарсического ожидания встречи. Здесь удовольствие и страдание оказываются недифференцированными.

Прежде всего, стоит остановиться на самом понятии «удовольствие». Мы говорим: «я доволен», «я получил огромное удовольствие». Получать удовольствие означает то, что «я», спроецированное в своих желаниях на тот или иной комплекс ощущений, восприняло их в достаточной степени для того, чтобы снять психологическое напряжение. Более того, интенция желания может быть скрыта от человека, тогда мы получаем вариант ощущений, который можно представить в виде формулы: «это превзошло мои самые смелые надежды». В других случаях, наоборот, низкая степень полученного ре-

зультата заставляет прибегать к некоторому самовнушению, доказывая себе, что «все замечательно». Таким образом, чувство удовольствия, прежде всего, связано с внутренним самоощущением, самочувствием, при котором внешние источники не имеют существенного значения. Тем не менее, все эти ситуации предполагают самоосознание получаемого результата для себя, поскольку событийность жизненного мира реконструируется в бесконечно перетекающих метаморфозах чувственных видений. Т.е. в центре проблемы оказывается само «Я», которое находит удовольствие в комфортном, целостном восприятии собственного образа, чаще всего не имеющем характера рефлексии над происходящим. Т.е. принятие комфортности в целом, без попыток структурировать и анализировать событийность. Получаемое удовольствие заставляет мир «замереть». Пребывание в целостной комфортности образует ситуацию «неги», которой свойственен эффект «торможения» при полном погружении в себя для переживания полноты и остроты чувствования. Одновременно стоит отметить, что удовольствие в целом носит кратковременный характер. Оно прерывисто, требует одновременно как повторения, так и разнообразия. Так, допустим, поедание лакомств доставляет удовольствие гурману, но пресыщение тем же самым блюдом заставляет изменить сам объект желания. Как писал Р. Барт, обращаясь к мысли, высказанной Ж. Лаканом по поводу Сада: «Нет такого объекта, который бы поддерживал бы постоянные отношения с удовольствием. Тем не менее, для писателя такой объект существует...».

Термин «удовольствие» коррелирует с термином «наслаждение». Здесь уместно было бы «развести» данные понятия. Но подобное действие оказывается трудновыполнимым, поскольку одно предполагает и другое, разве что наслаждение более тяготеет к чувственному опыту.

В то же время наслаждение связано с удовольствием вкуса, причем понимаемого широко. Т.е. вкуса как ощущения и вкуса как гармоничного отношения к миру. В «Критике способности суждения» И. Кант писал: «Вкус есть способность судить о прекрасном». Но банальный вкус соленого огурца мы также не можем рассмотреть вне нашего суждения об уместности употребления данного продукта в сочетании с другими и также вне собственных вкусовых пристрастий. Несочетаемость и неуместность разрушают целостность получаемого удовольствия, делая его абсурдным и маргинальным. Тем не менее, стратегически удовольствие возможно и в таком случае. Допустим,

приводимое вкусовое сочетание из «Алисы в Стране Чудес» в пересказе Бориса Заходера: «А так как оно оказалось необыкновенно вкусным (на вкус – точь-в-точь смесь вишневого пирога, омлета, ананаса, жареной индюшки, тянучки и горячих гренков с маслом), она сама не заметила, как пузырек опустел».

В конце концов, если мы обращаемся к примеру гастрономического удовольствия, само застолье, выстроенное по современному отечественному канону, предполагает регламентированную по очередности смену блюд, происходящую скорее по принципу различия вкусов, где холодное противостоит горячему, сладкое – соленому, простое – сложному. Современный «пир» противоречит платоновскому симпозиуму, исходя из осмысленности наслаждения принимаемой пищи, что производит самодостаточность процесса еды, где беседа предстает пустым шумом или делает объектом суждения саму потребляемую пищу. Еда, различенная во вкусовой иерархии, обретает собственный смысл. Как отмечает в своей диссертации С.А. Кириленко: «На этом фоне отчетливо проявляется специфика новоевропейской стратегии удовольствия, в рамках которой насыщение перестает быть средоточием опыта принятия пищи, обжорство вызывает неприязнь, а наслаждение едой предстает как наслаждение смысловым богатством вкусовых оттенков. Удовольствие от вкуса, таким образом, культивируется не как дополнение к удовольствию от насыщения, но как его противоположность». Вкус, таким образом, обретает бытийственное значение, а удовольствие вкуса становится одной из основных стратегий европейской культуры.

Собственно, возвращаясь к И. Канту, мы находим продолжение высказанному ранее суждению: «Осуществление каждого намерения связано с чувством удовольствия...». Сама разумность человека предполагает, таким образом, выбор стратегии удовольствия, который может быть изменен согласно обстоятельствам: мыслю, сомневаюсь, наслаждаюсь, следовательно, – существую. Различности противоположного воспроизводят синтез, который европейским сознанием воспринимается как единственно полноценный. Ситуация непрерывных изменений и модификаций создает в качестве одной из основных ценностей ценность экзотического. Агрессивность европейского сознания требовала стратегической направленности к Другому, в конце концов, захвата, обретения непрерывно сменяющихся друг друга объектов новации. Связь противоположного определяла и стратегии разума, где антиномичность мышления декларировала пра-

вила иных жизненных стратегий: «Таким образом, существуют: 1) антиномия разума при теоретическом применении рассудка вплоть до безусловного – для познавательной способности; 2) антиномия разума при эстетическом использовании способности суждения – для чувства удовольствия и неудовольствия; 3) антиномия при практическом применении самого по себе законодательствующего разума – для способности желания...».

Это позволяет нам сделать вывод о том, что осознанная деятельность в целом выполняет условие достижения желаемого посредством использования доступных в культурной ситуации стратегий, представляя «фабрику удовольствия», опережающую механизмы «производства желания» как внерефлексивной деятельности, поскольку производит необходимые для обретения многоплановой комфортности вещи: и материальные, и духовные.

Но желание обосновывает само получаемое удовольствие. Оно создает обратную связь с сознанием, обосновывая саму разумность как видовую особенность. Как писал Ж.-П. Сартр: «Как правило, желание не является желанием делать. «Дело» включается после, присоединяется извне к желанию и необходимо связано с обучением... Желание определяется как мутное».

«Смутность» желания вызывает в памяти достаточно протяженный ассоциативный ряд, начиная с ведической традиции и замечательного гимна «Рита и Истина», где оно предстает «первым семенем мысли», и заканчивая сюрреалистическими интенциями в духе Л. Бунюэля, где разумное, противостоящее озарению, скорее представляется неуместным. Здесь и выявляется рефлексивная роль стратегий удовольствия, проясняющих и различающих желаемые объекты, а также становится очевидным значение художественной критики как новой стратегии, актуализируемой модернистскими проектами XX века. «Безумный мир» нуждается в терапии стратегий удовольствия, определяющих вариативность границ и норм, где целостность обнаруживается в пограничных областях, а смысл – на свободных полях книги, образующих подобие «замутненной» зеркальности.

Таким образом, мы можем рассмотреть культуру как сумму или систему стратегий удовольствия, в зависимости от того, будем ли мы обращаться к культурному разнообразию или к антропологической целостности в анализе человеческой деятельности. Предельность человеческого существования не дает нам права выбора, поскольку соединяет в себе целостность и единичность. И здесь мы вынуждены

опять возвратиться к двойственности Удовольствия-Страдания, протекающей из связанности Собственного и Чуждого. Избираемая стратегия удовольствия и помогает удерживать конфликт противоположного. Но: «Конфликт есть первоначальный смысл бытия-для-другого... Мною владеет другой; взгляд другого формирует мое тело в его наготу, порождает его, ваяет его, производит таким, какое оно есть, видит его таким, каким я никогда не увижу... Он производит мое бытие... Таким образом, мой проект возобновления себя является существенно проектом поглощения другого».

Стратегии удовольствия в отдельной культуре отражают целостное представление о себе носителя данного культурного типа, а также ряд витальных и духовных ценностей. Но существуют также и общезначимые стратегии. Так, к числу общезначимых стратегий удовольствия могут быть отнесены: Стратегия свободы, Стратегия жизни, Стратегия смерти, Стратегия еды, Стратегия сексуальности, Стратегия гигиены, Стратегия визуальной гармонии, Стратегия звуковой гармонии, Стратегия избирательности вкуса и запаха, Стратегия движения, Стратегия коммуникации, Стратегия боли, Стратегия смеха.

Выделенные стратегии могут принимать различные формы, согласующиеся с культурной ситуативностью. Каждая из них при этом не является самодостаточной, сочетаясь с другими. В конечном счете, принимая ту или иную стратегию удовольствия, мы обособываем доминирующую тенденцию переживания, согласующуюся с образом Другого, актуального для предложенной действительности. При этом сама избираемая стратегия скорее будет выступать способом обозначения границ собственного «Я». Например, Стратегия коммуникации удостоверяет значение собственного присутствия в мире. «Я», воспринимающий Другого, соотносим с Любым, что предполагает обретение опыта признания и возможность использования иных стратегий. Так, может быть присвоено и модифицировано удовольствие, получаемое через опыт Другого. Например, «удовольствие от текста» превращается в удовольствие от Барта: «Удовольствие никогда ничего не отрицает: 'Я отведу взгляд; отныне это будет единственной формой моего отрицания'». Сам Р. Барт становится тем символическим объектом блаженства, который для нас предстает в рефлексивном осмыслении текстовой коммуникации. Коммуникативное удовольствие предполагает выбор между двумя основными стратегиями: прямой и опосредованной взаимосвязи индивидов. «Дар письма» определил наиболее значи-

мую для цивилизационного развития стратегию: удовольствие от чтения и от письма. М. Павич в своем «Хазарском словаре» писал: «Каждый из нас выводит гулять свою мысль впереди себя, как обезьяну на поводке. Когда читаешь, имеешь дело с двумя такими обезьянами: одной своей и одной чужой. Или, что еще хуже, с одной обезьяной и одной гиеной. Вот и смотри, чем кого накормить. Ведь вкусы у них разные...». Насилие и властность текста легитимируют конкретные, часто несовместимые стратегии. Это дает возможность Р. Барту написать: «Письмо... наука о языковых наслаждениях, камасутра языка». «Текст-удовольствие... заполняющий нас без остатка, вызывающий эйфорию; он идет от культуры, не порывает с ней и связан с практикой комфортабельного чтения. Текст-наслаждение... вызывающий чувство потерянности, дискомфорта... разрушает... ценности... воспоминания...». «Я обречен на такую двойственность, ибо мне не дано по собственному произволу освободить слово «удовольствие» от ненужных мне смыслов: я не могу сделать так, чтобы это слово во французском языке перестало отсылать и к некоему общему понятию («принцип удовольствия»), и к более конкретному представлению («Дураки существуют нам на удовольствие, на потеху»). Вот почему я вынужден смириться с тем, что мой собственный текст останется в тенетах противоречия». Письмо о письме, как и чтение собственных текстов, удваивает и абсолютизирует саму стратегию, придавая ей общекультурное значение. В то же время такая ситуация может быть рассмотрена как воспроизводство удовольствия в повторяемости при обращении к множественным интерпретациям, что позволяет одновременно получить вариативность новаций. Причем цитирование, как расчленение текста, смакование различных граней мысли с одновременным насыщением их смыслом, привносимым собственным опытом интерпретатора, становится сродни удовольствию от гастрономических вкусовых изысков без стремления к насыщению: вдыхание ароматов, обглаживание косточек и т.д.

С другой стороны, двойственность самого человека допускает и наличие наслаждения от страдания, что воплощается в Стратегии боли. Так, Сартр писал, что «мазохист кончает тем, что превращает другого в объект и трансцендирует его к его собственной объективности... усилие сопровождается изнуряющим и восхитительным сознанием поражения, причем таким, что само это поражение, которым кончает субъект, рассматривается как основная цель».

Сама интенция нашего сознания предполагает необходимость страдания, поскольку обращена к Другому. Старание и сострадание очищают от скверны и нечистоты нарушенных границ Чуждого. Сострадание порождает явленное «Мы», в котором целостность раздвоенности упорядочена четверицей бытия. Интенция к Другому перерастает в агрессию насыщаемого созерцанием взгляда. Солнечный глаз, царящий над миром, требует жертвы собственному со-страданию. Но сам взгляд рассмотреть нельзя, из чего проистекает невозможность присвоения свободы Другого. «Я могу при моем появлении в мире выбрать себя как рассматривающего взгляд другого и основывать свою субъективность на исчезновении субъективности другого. Именно эту установку мы назовем безразличием по отношению к другому. Речь идет тогда о слепоте по отношению к другим». Удовольствие рассматривания, таким образом, сопряжено со страданием встречи и неизбежностью жертвы, что не противоречит самому принципу удовольствия.

Жертва предполагает трагизм. Ситуативность подобной процедуры сопряжена с максимальным напряжением, разрешить которое возможно как посредством Стратегии боли и страдания, так и посредством Стратегии смеха. Смех создает прецедент уместности неуместного. Сам абсурдизм предопределяет разрушение страдания как негативного напряжения. Трагедийное переживание не исчезает в ироничном взгляде, но ускользает от мазохистского разрушения мира, делая удовольствие актом воления и одновременно полноты, – черный юмор сопрягает страдание с актом свободы. Здесь можно бы было обратиться к расхожему сюжету. Например, всем известная история о Красной Шапочке. Именно в бесконечном обращении к данной истории воспроизводились различные доминирующие стратегии удовольствия. Основой повествования, скорее всего, можно бы было представить стратегию коммуникации. Сама взаимосвязь персонажей как представителей различных поколений – бабушка – мать – дочь – или разных миров – человеческое женское начало в противоположность животному мужскому – создавала своеобразное сочетание возможных принципов, необходимых для обоснования блаженства. Это и еда, когда девочка идет навещать больную бабушку, неся ей определенный набор продуктов. Здесь, кстати, проявляется интересный казус-перевертыш. Бабушка в стереотипном восприятии нашего современника предстает существом кормящим или даже закармливающим. Сама устремленность к кормлению внуков весьма интересна. Современная бабушка зачастую еще весьма молода и сама часто бывает в состоянии воспроизводить потом-



ство. Время от времени в нашей повседневной жизни мы встречаемся с ситуацией одновременных родов у матери и взрослой дочери. Но, как правило, существует некий «неписанный» запрет: зачем рожать детей, если уже рождаются внуки? Также довольно часто в обыденном опыте мы сталкиваемся с особо сильной любовью бабушек к внукам. Они балуют, они переживают каждую царапину, реагируют на любые события излишне эмоционально. Можно бы было это объяснить традиционными мотивами, связанными с опытом социализации: немолодая женщина перестает работать, исключена из привычного хода жизни, не может сама произвести потомство. Но нет. Женщина-бабушка представляет вполне активное и зрелое звено социальной действительности. Тем не менее, особая чувствительность к жизни внуков сохраняется. Внуки предстают как «вдвойне дети». Удваивается и основная материнская функция кормления, связанная с властью, сохранением традиций, устойчивостью связей между членами «рода». Красная Шапочка обращает стратегию кормления вспять. Этим рушится граница, разделяющая миры, происходит игра смыслами, ведущая к метаморфозам. Здесь проступает и стратегия сексуальности в отношениях между юным и беззащитно-женским и агрессивно-звериным мужским образами, и стратегия боли в поглощении женского, что само по себе требует дополнительных интерпретаций, поскольку боль простирается по внутренней и внешней поверхности волчьего чрева. Стратегия визуальной и звуковой гармонии проявляется в воспринимаемых утонченным девичьим взором образов полянок с цветами, «большими» ушами и глазами «бабушки» и «толстым» голосом. Пересекаются и пути следования девочки, волка и, в конце концов, охотников, что задает неизбежность стратегий движения, в которых раскрываются образы героев. В итоге игра завершается балансированием между жизнью и смертью, а также идеей освобождения в романтическом первозданном блаженстве выхода из тьмы. Многочисленные вариации в современной культуре данного сюжета добавляли в качестве доминирующей в данном сюжете стратегию смеха. Здесь можно вспомнить мультфильмы, например, с добавлением образа «французской» бабушки, историю В. Драгунского о Дениске, который неизменно плакал от страха за Красную Шапочку, сказочные истории, где дети, оказываясь внутри повествования, изменяли варианты решения, пародии, где герои отождествлялись с популярными артистами, когда «Пьеха бабушкой увлеклась», песни, в которых девочка преображалась и «волка скушала, потому что одесситкою была». Метаморфозы стратегий удовольствия,

производимые стратеги ей смеха, для нашего современника оказались, таким образом, наиважнейшими.

Этимологически выяснить значение понятия «удовольствие» оказывается трудно. Напрашивается ряд противоположных смыслов, представляющих, с одной стороны, акт воления, с другой стороны, полноту (вдоволь, voll (нем.), полный, целый), с третьей стороны, присутствует смысловой оттенок сдавливания. В принципе, все эти элементы смысла наличествуют в сущности данного понятия. Удовольствие, противостоящее страданию как негативной эмоциональности разрушения границ Собственного, имеет отнюдь не однозначное отношение к последнему. Так, наслаждение болью, «радость, щемящая сердце», мазохистские варианты, присущие в той или иной мере человеческой природе, не противоречат страданию, возводя само удовольствие на пьедестал всеобщности. Избираемые при этом стратегии могут быть рассмотрены как способы социализации индивида, обосновывающего свое пребывание в рамках определенной культурной традиции. Принцип человеческого и есть принцип удовольствия, т.е. снятия напряжения, конкретные восприятия которого весьма вариативны. Поэтому в заключение мы можем отметить, что выбор той или иной стратегии обусловлен не индивидуальным пристрастием, а строго регламентирован культурными нормами. Другое дело, что нормативность в рамках современной культурной ситуации оказывается весьма неустойчивой. Здесь определяющим в выборе той или иной стратегии удовольствия становится достаточно большое количество факторов, отнюдь не всегда проявляющихся закономерно. Более того, мы подчас сталкиваемся с сочетанием стратегий, где, в силу необходимости рефлексии над собственными переживаниями, вынуждены выделить некоторую доминанту. Причем, этот выбор ни в коем случае не будет окончательным, и мы сможем в следующее мгновение обратиться к новой интерпретации собственных ощущений и переживаний. Таким образом, сама рефлексия над стратегиями удовольствия выступает новой синтетической стратегией, позволяющей расширить границы переживаемого наслаждения.

*Кириленко С.А.*

Удовольствие, как правило, полагается тривиальным в своей «естественности» и как таковое почти никогда не становится самостоятельным предметом философской рефлексии. В прошлом фило-

софской мысли несомненно преобладала этическая трактовка наслаждения, основанная на различении удовольствия духовного и удовольствия телесного. Последнее повсеместно получало низкую этическую оценку как нерелевантное истине человеческого существования, поскольку самоисполнение человека связывалось с овладением духовными благами. Только феноменологическая философия XX в., воздавая должное бытийной истине тела, обретает язык, позволяющий говорить о телесном наслаждении в его соотнесённости с экзистенцией. Опираясь на эту традицию, мы попытаемся описать удовольствие в терминах открытости миру и Другому и переживания единства телесного опыта с Другим в обладании общим миром.

Удовольствие — герменевтическая проблема, поскольку его возможность обусловлена принятием определённой традиции различения приятного и неприятного. Телесность несёт в себе историю, актуализирующуюся в имманентном восприятии смыслополагании, в интенции принятия или отторжения, разграничивающей «собственное» и «чуждое» в структурах мира. Благодаря заложенной в теле способности к различению, оно становится проводником культурных значений, позволяя субъекту интериоризировать традицию и обрести в ней источник самопонимания. Открывая себя в наслаждении какому-либо аспекту мира, субъект тем самым схватывает и удерживает собственную идентичность, что отражается в способности обычного мира вызывать привычные желания. Вместе с тем мы можем говорить о разделённом удовольствии как о со-бытии с Другим в обладании единой историей и единым миром.

Укоренённость способности к наслаждению определёнными вещами в культурной традиции и позволяет нам ввести понятие «стратегий удовольствия», трактуемых при этом как стратегии власти. История повседневности изобилует примерами предписаний, которые, осуждая или одобряя удовольствия, по существу, служат их вменению. Способность испытывать удовольствие подлежит сознательному или бессознательному культивированию, и мы полагаем что, несмотря на все исторические формы аскетизма, забота об удовольствии является краеугольным камнем культуры. На то, что власть «пронизывает тела», контролируя сферу повседневных удовольствий посредством их интенсификации, обращал внимание М. Фуко. Забота об удовольствии, таким образом, не противоположна дисциплине, но, напротив, может служить её основанием, создавая непреодолимый

рубеж на уровне телесного отторжения недозволенного за счёт инкорпорированного императива отказа от неприятного. В этом свете самые разные культурные процессы могут быть представлены как трансформация телесного опыта, исключая из поля возможного один комплекс удовольствий и заменяющая его другим. Категория «естественного» наслаждения, как следствие, предстаёт весьма проблематичной: предметы удовольствия разделяются на «хорошие» и «плохие», становясь проводником смыслов, посредством которых человек постигает и принимает мир и самого себя.

Устойчивость предпочтений обусловлена тем, что повседневный опыт разворачивается не в пространстве безграничного множества противоречивых потенциальных удовольствий, но поляризуется между тем, что может быть источником удовольствия, и тем, что не может быть таковым. Стратегия удовольствия всегда предполагает наличие на горизонте того, что неприемлемо в соответствии со сложившимся типом самоидентификации и потому не может быть приятным. Запретный плод не всегда будет возделанным: напротив, то, что оказывается за пределами области потенциально приемлемых реалий, мыслится как неспособное доставлять радость. История культуры предоставляет в наше распоряжение множество примеров такого рода мифологии «отвратительного».

Человеческая культура ревностно оберегает эту чувственную грань между «собственным» и «чуждым», безразличное отношение к которой расценивается как маргинальность и описывается как патология. Отказ беспокоиться об удовольствии вызывает осуждение, а невозможность наслаждения «чуждым» предстаёт как инкорпорированный моральный долг. Обратной стороной избегания недозволенного является обязательная любовь к тому, что предназначается субъекту как его «собственное». Всякая культура наслаждения, специфицирующая потребляемые блага, тем самым задаёт схемы телесного самоисполнения, обязывая к радостному принятию санкционированного авторитетом и делая невозможным самовольный отказ. Однако такого рода обязательства ни в коей мере не будут восприниматься как ограничения, налагаемые на спонтанность самости: положительно маркированный опыт принимается как непосредственно приносящий наслаждение.

Удовольствия определяются друг относительно друга и именуются как соответствующие/несоответствующие или возможные/невозможные, в зависимости от того, какую роль способность к

ним играет в классификации человеческих типов, соотносенной со структурой власти. Таким образом, перед нами зачастую квазиспонтанное удовольствие, в действительности представляющее собой определённую стратегию, санкционируемую властью, рассредоточенной в структурах повседневности. При этом активно используется терминология естественной склонности, приписывающая носителю той или иной идентичности: гендерной, классовой, этнической — обладание особой телесностью, восприимчивой к определённым видам удовольствия.

Открытость удовольствию предполагает определённую ориентацию в рамках заданной схемы. Предпочтения всегда знаменуют собой некоторый модус укоренённости в мире, телесную включённость в его структуры: предпочтения соотносятся с основными проблематизациями бытия, выступая в качестве телесного символа культурной идентификации и индивидуальной истории. Принятие или отторжение определённой рода удовольствия представляет собой признание или отвержение некоего мира как ситуации, в которой обнаруживает себя субъект. Отвращение в этой связи является экзистенциальным отказом принять тот опыт мира, потенцию которого несёт в себе телесность Другого, допускающая удовольствие в подобной ситуации. И вместе с тем этот рубеж не является непреодолимым: история культуры демонстрирует примеры изменений стратегий удовольствия. Перемены, затрагивающие сферу удовольствий, ведут к глубокой трансформации экзистенции как телесного бытия-в-мире, и предоставляют уникальное поле возможностей для реализации властных стратегий. Тем большее значение должны мы придавать подобным случаям как целенаправленной трансформации целостной интенции индивидуального бытия, в процессе которой «естественные» склонности индивида согласуются с идеологией культуры.

Знаменательной чертой современной культуры является неспособность к удовольствию. Современная стратегия, получающая выражение в рекламном дискурсе, активно использует гедонистические мотивы. Однако, несмотря на обращение к властному потенциалу интенсификации удовольствия, оно постулируется — не переживается. Внедрение усреднённых нормативов ведёт к разрыву с индивидуальной историей и культурной традицией, обуславливающими возможность переживания удовольствия, и становится причиной экзистенциального дискомфорта. Сомнителен тезис о раскрепощающей инди-

видуализации стратегий удовольствия в современной культуре, скорее, необходимо говорить о симуляции удовольствия за счёт презумпции коллективного желания. Современная культура избегает противопоставлять то, что может быть источником удовольствия, и то, что не может быть таковым, и по этой причине лишается опознаваемых символов телесной идентификации, придающих форму индивидуальному бытию. Культура массового потребления в силу присущей ей «всеядности» не знает того «чуждого», на избегании которого построены все стратегии удовольствия, и как следствие, не знает «собственного». Культивируя эстетику и комфорт, современный человек оставляет удовольствие в забвении и в итоге утрачивает контакт с миром и с Другим.

Пользуясь психологическими терминами, можно провести различие между интроецированной и ассимилированной культурной традицией. В первом случае власть захватывает самость, навязывая опыту индивида чуждую форму, вследствие чего тот отказывается от собственных ощущений в пользу отождествления с авторитетом, утрачивает чувство удовольствия, то есть теряет способность замечать границу между «чуждым» и «собственным». Во втором случае традиция органично входит «в плоть и кровь» Я, став его «собственным». Мы полагаем, что закреплённая в традиции стратегия удовольствия может быть неотчуждаемой составляющей личности, постольку поскольку культурные стратегии удовольствия в действительности сопряжены с наслаждением. Возвращение же утраченной способности к переживанию удовольствия происходит при обретении возможности отказа от неприятного: тогда укоренённая в теле экзистенция освобождается от бремени фиксаций и открывается миру, обретая в нём «собственное».

Таким образом, признавая возможность пагубной для наслаждения интроспекции культурных императивов, мы всё же видим перспективу формирования в рамках общекультурных стратегий индивидуальных «тактик». Оптимальная стратегия, как видно, заключается в том, чтобы постоянно открывать для себя новые виды удовольствия, ориентируясь на ощущение контакта как на критерий «собственных» способов наслаждения, на различение «хорошего» и «плохого» через осознание способности индивидуального тела воплощать многообразные культурные смыслы.